

М. Н. Загоскин

Искуситель

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-311.6
ББК 84-4
3-14

Загоскин М.Н.
3-14 Искуситель / М. Н. Загоскин – М.: Книга по Требованию, 2021. – 180 с.

ISBN 978-5-4241-3320-6

Михаил Николаевич Загоскин справедливо считается "отцом исторического романа" в России. Современники называли Загоскина "русским Вальтером Скоттом", его произведения высоко ценили Пушкин и Белинский.

"Талант Загоскина - самобитный, оригинальный, исключительно русский; в этом отношении он не имеет соперника", - писал в биографии Загоскина С. Т. Аксаков, считавшим его единственным исключительно русским народным писателем.

ISBN 978-5-4241-3320-6

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2021
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2021
© М.Н. Загоскин, 2021

Михаил Николаевич Загоскин
Искуcитель

*C'est un tableau de fantaisie dont tous
les détails sont peints d'après nature'.*

Часть первая

I. СЕМЕЙСТВО БЕЛОЗЕРСКИХ

Сегодня день моего рождения; мне минуло шестьдесят лет; мои мягкие темно-русые волосы, которым некогда завидовали красные девушки, сделались жесткими и поседели; вместо тонких бровей дугою, нависали над моими глазами густые брови в палец шириною, ресниц как не бывало, а полные румяные щеки впали и пожелтели как осенний лист на деревьях. Говорят, будто бы глаза мои не совсем еще утратили свою прежнюю выразительность, а зубы (которых, впрочем, немного осталось) свою первобытную белизну. Может быть. Но я ношу очки и давно уже перестал лакомиться орехами, до которых в старину был страстный охотник, – все это очень грустно! Правда, когда я взгляну на мою Марию Ивановну, то мне становится не до себя... Господи боже мой! Подумаешь, как годато меняют человека! Та ли это Машенька, свежая, как весенний цветок после утренней росы, прекрасная, как модель живописца, который хочет создать свою *Мадонну*? Ну, кто поверит, что эта пожилая барыня, которая в ситцевом капоте и в своем чепце-*разлетае* сидит за пальцами или вяжет для меня бумажный колпак, была некогда с гибким станом, с волнистыми светло-русыми волосами, что у нее был прелестный ротик и два ряда зубов, которые я не называю перлами потому только, что это сравнение сделалось слишком уж обыкновенным. Конечно, это никому не придет в голову, никому, кроме мужа, для которого милы ее морщины: она нажила их, проведя всю жизнь со мною. Почти тридцать лет постоянного счастья, тридцать лет сряду, как в первый день свадьбы, все те же совет и любовь, два сына и три дочери, из которых меньшая, как две капли воды, походит на мать свою. О! Эти прелести стоят, без сомнения, тех, от которых мы сходим с ума в наши молодые годы. Верная подруга в жизни, добрая жена никогда не состарется для своего мужа, и всякий раз, когда я подумаю, что этот злой дух, этот сатана, которого я сам вызвал из преисподней, мог навсегда разлучить меня с нею, то вся кровь застывает в моих жилах. Так, он точно был демон, но, разумеется, нашего века: не с хвостом и рогами, а одетый по последней моде, остроумный, насмешливый, точь-в-точь такой, какого навязал себе на шею чернокнижник Фауст². Вы думаете, что я шучу или, может быть, величаю демоном какого-нибудь злодея? О, нет! Я говорю без всяких риторических фигур и называю злым духом не человека, а того, которого имя не выговорит ни одна набожная старушка, не перекрестясь и не примолвив: «Наше место свято!» Смейтесь надо мной, если хотите, но я в этом уверен и, быть может, уверю и вас, когда расскажу вам кой-что про первые годы моей молодости.

Мне не было еще трех месяцев, когда покойная матушка скончалась, отец мой скоро последовал за нею, и я на четвертом году остался круглым сиротой: даже близких родственников у меня не было. Исполняя последнюю волю умирающего отца моего, определили ко мне опекуном внучатного его брата, Ивана Степановича Белозерского. Сиротство мое прекратилось с той самой минуты, как я вступил в дом этого почтенного человека; но прежде, чем я стану говорить о самом себе, мне должно познакомить вас покороче с семейством Белозерских и с уединенной деревнею, в которой я взрос, образовался и провел большую часть

моей молодости, – теперь я далеко от нее; но, быть может, мне удастся еще раз взглянуть на это мирное убежище моего детства, и тогда – если господь будет до конца ко мне милостив – я весело засну, спокойным, но не вечным сном, без скорби и отчаяния, а с теплой верой, что минута пробуждения будет для меня и для всех моих минутой радости и неизъяснимого блаженства.

Иван Степанович Белозерский вступил в службу в достопамятный год Чесменской битвы³ и знаменитой победы под Кагулом⁴. Он служил в гвардии. На двадцать девятом году влюбился в сестру своего начальника, милую, добрую и прекрасную девушку; на тридцать втором обвенчался с нею, через год она родила ему дочь; потом, в 1790 году, делал шведскую кампанию; дрался, как лев, в сражении под Абесферсом и за отличие произведен в капитаны. Вскоре затем вышел за ранами в отставку с чином бригадира и отправился с женою и дочерью на житье в свое наследственное поместье – но не для того, чтоб порскасть за зайцами. Он занялся благосостоянием своих поселян, и хотя соседние дворяне называли его плохим экономом, потому что он думал о выгодах своих крестьян столько же, сколько о своих собственных, но, несмотря на это, доходы его с каждым годом умножались, мужички богатели, и, начиная от барского двора до последней избы, от помещика до крестьянина, везде благодарили господа, и все жили припеваючи. «Чудное дело, – толковали меж собой соседи, – этот Белозерский вовсе не радеет о своей пользе, а все так-то ему в руку идет!»

Прогуливаясь по селу с женой и дочерью, Иван Степанович встречал везде одни приветливые и веселые лица; ребятишки от них не прятались, не выглядывали украдкою из подворотней, а выбегали все на улицу, и часто какой-нибудь почти столетний старик кричал, а слезал с полатей, чтоб выйти за ворота и взглянуть на добрых господ своих. «Дай бог им много лет здравствовать! – говорили меж собой мужички. – Неча сказать, знатные господа! Бога помнят, крестьян своих жалуют» – «А наша барышня, – болтали старухи, – родная-то наша матушка. Марья Ивановна! Эка лебедь белая! Всем взяла! Тоненька только, сердечная! Да бог милостив, войдет в года – будет подороднее!»

Когда мне минул восемнадцатый год и я сбирался уже в Москву. Ивану Степановичу было лет под шестьдесят. Он очень часто прихварывал, простреленная нога и разрубленное плечо мучили его перед каждой переменою погоды. Лицо его, с которого еще не совсем исчез румянец молодости, не имело в себе ничего особенного, ничего такого, что поражает нас с первого взгляда но когда он говорил, когда пожимал с ласкою вашу руку, когда глаза его оживлялись простодушием и добротою, то все черты этой спокойной и светлой физиономии навсегда врезывались в вашу память. Не много есть художников, которые умеют разливать жизнь и, так сказать, вливать душу в свои произведения, и вот почему из всех портретов Ивана Степановича не было ни одного сходного: все они изображали лицо простого человека с самой обыкновенной, незначащей физиономией, в этом *дюжинном* лице не было ничего ни противного, ни привлекательного; но это потому, что оно точно так же походило на свой подлинник, как походит неподвижный водопад в картине на падение Рейна или Ниагары. Вода, пена, брызги – все списано верно с природы; но где жизнь и движение бурной реки, которая ежеминутно, изменяя свой образ, стремится, летит и с грохотом исчезает среди кипящей пучины?

Хотя в то время жене Ивана Степановича было уже гораздо лет за сорок, но,

взглянув на нее, нельзя было не подивиться, что у нее дочь невеста. Есть старая французская поговорка: *c'est la lame qui use le fouteau*⁵. И подлинно: злота, отчаяние, порывы гнева, точно так же как безмерная любовь и вообще все необузданные страсти, истребляя здоровье, почти всегда бывают причиной нашей преждевременной старости. Мы обольщаемся красноречивым описанием всех сильных страстей: любовь, не доходящую до безумия, мы не хотим называть любовью, забывая о том, что всякое неистовое чувство унижает достоинство человека, и, какое бы название ни дали страсти, которая превращает вас или в дикого зверя, или в малодушное существо, не имеющее собственной воли, эта страсть всегда останется чувством противным богу и нашей совести, потому что она, затмевая рассудок, сближает нас с животными и, так сказать, *оземляет* наше небесное начало. Кроткая душа Авдотьи Михайловны – так звали жену Белозерского – не знала ненависти, а теплая вера укрощала чрезмерную чувствительность, к которой она была способна. Когда господь посещал ее горестью, она молилась, и скорбь ее никогда не переходила в отчаяние; ощущая необычайную радость, она спешила благодарить бога, и сердце ее облегалось. Конечно, и она была не всегда одинаково весела и довольна, но ее никогда не покидали этот душевный мир и спокойствие, столь же мало похожие на холодный эгоизм, сколь мало походит стоячая вода грязного пруда на светлые струи ручья, который хотя и не вырывает с корнем деревья, как живописный гордый поток, но зато тихо и стройно течет в берегах своих, разливая вокруг себя жизнь и прохладу.

Я сказал уже слова два об их дочери. Представьте себе... или нет!.. дайте полную волю вашему воображению, и будьте уверены, что оно не создаст ничего лучше и милевиднее Машеньки Белозерской, когда ей минуло шестнадцать лет. Чтоб окончить описание этого семейства, мне должно упомянуть еще об одном слуге, или, лучше сказать, *домочадце* Ивана Степановича. Я не мог приискать ничего приличнее и вернее этого старинного русского названия, чтоб определить одним словом, к какому разряду домашних принадлежал дядька мой Кондратий Бобылев, некогда заслуженный гвардейский сержант, а потом дворецкий и приказчик в доме бывшего своего капитана. Бобылев был роста высокого, худощав, и, несмотря на то что доживал шестой десяток и предвизнал не хуже Ивана Степановича всякую ненастную погоду, он мог бы еще лихо выбежать перед фронт за флигельмана и вскинуть кверху тяжелое солдатское ружье, как перышко. Перед своим бывшим командиром он всегда держал себя навьютяжку и не мог смотреть без досады на ровесников своих, старосту Парфена и бурмистра Никитича, когда они шли, сгорбившись, по улице или стояли, опираясь на свои *подошки*⁶. «И, что вы за народ такой! – говаривал он всегда, закручивая свои огромные седые усы. – Кряхтят да гнутя, словно старики! Да что наши за года? Ведь мы еще в самой поре и силе. Эх, поломал бы вам бока да выправил по-нашенски, так небось стали бы держать себя в стреле!» Бобылев, так же как и бывший капитан его, носил по будням военный сюртук, а по праздникам наряжался в полный мундир и, сверх того, по старой привычке, пудрил свои седые волосы пшеничною мукою и подфабривал усы. Его любили все: взрослые – за простодушие, доброту и приветливый нрав, а дети – за его рассказы о войне с турком, о походах под шведа, о храбрости и удалости фельдмаршала Румянцева⁷, о батюшке-графе Суворове, о том, как басурманы пьют зелье, от которого как шальные лезут на штыки православного войска, и о разных других некрещеных

народах, которые пугают своих детей, вместо буки, русским солдатом.

Я должен также упомянуть об иностранцах, которые жили в доме Белозерских; их было двое: нянюшка-немка и учитель-француз. Немку называли Луизой Карловной, а француза – мусье Месмежан, то есть он назывался некогда Monsieur Jean, но впоследствии эти два слова слились в одно: его стали величать Иваном Антоновичем Месмежаном, – и под конец он так привык к этому прозвищу, что, верно бы, не откликнулся, если б кто-нибудь назвал его по имени.

Хотя деревня, в которой жили Белозерские, не далее двадцати пяти верст от губернского города, но я до шестнадцатилетнего возраста знал его по одной наслышке; сам Иван Степанович бывал в нем очень редко и только по самой крайней надобности. Господский дом со всей усадьбою был расположен в близком расстоянии от большой дороги; с трех сторон окружали его дубовые рощи. Я населил бы их соловьями, если б писал роман, но истина прикрас не требует. С наступлением весны налетало в них бесчисленное множество грачей, которых громкий и бесперывный крик так сроднился с первыми и приятнейшими впечатлениями моей молодости, что и теперь дубовая роща без грачей кажется для меня пустынею и возбуждает точно такое же грустное чувство, как безлюдный город или давно покинутый дом, в котором не заметно никаких признаков жизни.

Когда приближались к деревне по большой дороге со стороны города, то сначала видны были одни рощи, потом как будто бы всплывала красная кровля господского дома, а там подымались крыши флигелей и служб, и вся усадьба открывалась только тогда, как подъезжали к самым воротам обширного двора, обнесенного частоколом, – но с противоположной стороны господский дом виден был версты за две. По всему было заметно, что отец Ивана Степановича, который построил эти барские хоромы, не охотник был до хороших видов. Он поставил их на полугоре таким невыгодным образом, что из окон главного фасада, обращенного к городской стороне, видны были одни только рощи и часть поля, которое, подымаясь все выше и выше, заслоняло от глаз все отдаленные предметы. Иван Степанович, чтоб вознаградить чем-нибудь этот недостаток, развел перед домом цветник, в который сходили по низкой лестнице прямо из гостиной, и поместил свой кабинет и небольшую столовую в противоположной стороне дома, между лакейской и девичьей. Из этих комнат вид был прекрасный: остальная часть горы опускалась пологим скатом до самого пруда, который некогда казался мне огромным озером, хотя вокруг едва ли было и двести сажен. По сторонам обширного луга, отделявшего пруд от барского двора, разбросаны были житницы, каретный сарай, избы дворовых людей, их клетки, а посреди стояла крытая соломою небольшая лачужка с высоким шестом, на котором вертелся флюгер, – это было сборное место ночных караульных. С левой стороны, в шагах десяти от двора, начинался большой плодовый сад, в котором были, однако же, дорожки, обсаженные липами, он примыкал к одной из дубовых рощ. Прямо перед задним фасадом дома, по ту сторону пруда, подымалась амфитеатром густая дубрава; справа, по берегу оврага, который начинался за плотиною, тянулось огромное гумно; за ним виднелись холмистые и открытые места, перерезанные довольно высоким валом; он отделял Тужиловку – так называлась деревня Белозерского – от большого экономического села; этот вал, идущий верст на двести, служил некогда оплотом и обороною от татарских погромов, или, по крайней мере, за-

труднял внезапные набеги этих разбойников. За валом, у самого въезда в экономическое селение, возвышалась деревянная церковь с небольшой колокольней, и за ней сливались с отдаленными небесами необозримые поля, на которых осенью, как золотое море, волновалась почти сплошная нива, кой-где пересекаемая проселочными дорогами. Я жил в антресолях над самым кабинетом Ивана Степановича, и вид из моей комнаты был еще обширнее. Очень странно, что в те годы, когда мы еще не имеем никакого понятия об изящном, прекрасный вид возбуждал во мне всегда неизъяснимое чувство удовольствия. Бывало, я по целым часам не отходил от окна и не мог налюбоваться обширными полями, которые то расстилались гладкими зелеными коврами, то холмились и пестрели в причудливом разливе света ее теней. Сколько раз в детской голове моей рождалась мысль уйти потихоньку из дома и во что бы ни стало добраться до того места, где небеса сходятся с землею, чтоб заглянуть поближе на красное солнышко, когда оно прячется за темным лесом. Более всего возбуждал мое любопытство и тревожил меня этот бесконечный темный лес; он виден был из моей комнаты, вдали за дубравой, которая росла по ту сторону пруда. Чего не приходило мне иногда в голову! «Уж верно, – думал я, – за этим лесом Должны быть большие диковинки? И что за люди там живут? Там и солнышко ночует – куда должно быть им весело!» Однажды – мне было тогда не более пяти лет – я решился завести об этом разговор с Бобылевым.

– Что это за длинный лес? – сказал я. – А что, Кондратии, чай, ему конца нет?

– Как не быть, сударь.

– А где же ему конец?

– Да верст пять или шесть отсюда.

– А что за этим лесом?

– Выглядовка.

– Что это, Кондратий? Город, что ли, какой?

– И, нет, сударь! Так, небольшая деревнишка, гораздо менее нашей Тужиловки.

– И люди там такие же?

– Такие же, батюшка.

Это меня немного успокоило, однако ж я не покинул намерения побывать когда-нибудь за лесом и посмотреть вблизи, как солнышко ложится спать.

Мы так привыкли, я – называть Машеньку сестрою, а она меня братом, что даже и тогда, когда подросли, нам ни разу не приходило в голову, что дети внучатых братьев почти вовсе не родня меж собою. Мы были неразлучны, и учились и играли вместе, поверяли друг другу свои детские тайны, я рассказывал ей все подробности своего путешествия за *дремучий* лес вместе с Бобылевым, который согласился наконец меня потешить и ходил со мною до самой Выглядовки. Машенька бледнела от страха, когда я описывал ей, как мы переправлялись через топкое болото, как зашли в такую дичь, что и света божьего не видно; как мимо нас пробежал огромный волк, и хотя, – прибавлял я с важным видом, – Бобылев уверяет, что это дворная собака, а не волк, но я точно видел, как глаза у него светились и как он шелкал зубами, а если мы остались целы, так это потому, что нас было двое. Машенька также в свою очередь призналась мне, что хочет непременно сходить когда-нибудь ночью в ближнюю рощу, которая была в двух шагах от дома, и посмотреть, как теплится огонек в старой часовне. Надобно вам

сказать, что в этой роще похоронен был приказчик Ивана Степановича, который погиб насильственной смертью во время Пугачева; а так как он был человек очень добрый и набожный, то все почитали его невинно пострадавшим мучеником и уверяли, что будто бы в поставленной над его могилою часовне теплится по ночам огонек. Это поверье, подкрепляемое божбою очевидцев, получило наконец всю достоверность несомненной были не только для жителей Тужиловки, но даже и для всего соседнего экономического села.

Разумеется, смелое предприятие Машеньки мне очень понравилось, я предложил ей разделить со мною все опасности этого ночного подвига. Вот однажды, после ужина, мы вышли погулять по двору, начали гоняться друг за другом и, выждав минуту, в которую немка Луиза Карловна позаболталась с моим учителем, мосье Месмежаном, выбежали в растворенную калитку; держа друг друга за руку, мы пробежали шагов пятьдесят не оглядываясь. Сначала нам можно было без труда различать тропинку, которая вела мимо часовни: ночь была лунная и деревья росли весьма простоно по опушке рощи, но чем далее мы заходили, тем становилось темнее; мы пошли шагом. Вот я почувствовал, что рука Машеньки начинает дрожать в моей руке, она стала останавливаться и наконец сказала прерывающимся голосом:

– Братец, я боюсь!

– Чего же ты боишься? ведь я с тобою, – прошептал я, стараясь казаться равнодушным, несмотря на то что и меня давно уже мороз подирал по коже.

Вдруг – и теперь не могу вспомнить без ужаса – в десяти шагах от нас раздался такой отвратительный и нелепый крик, что Машенька присела от страха, да и у меня ноги подкосились. Этот крик, похожий на безумный хохот, разлился по всей роще, и в то же время что-то серое мелькнуло из-за куста, кровь застыла в моих жилах, а Машенька совсем обеспамятела.

– Не бойтесь, матушка Луиза Карловна, – раздался позади нас голос Бобылева. – Это заяц: они всегда так перекликаются весною.

– Здесь, здесь! – вскричала немка, увидев нас под деревом.

Мой учитель протянул уже руку, чтобы схватить меня за ухо, но положение, в котором мы находились, перепугало и строгих наших наставников: нас подняли, отвели домой, уложили спать и на другой день, дав препорядочную нотацию, оставили без обеда.

«К чему эти ничтожные подробности?» – скажут, может быть, мои читатели. О! Если б вы знали, как эти мелочи для меня драгоценны! С каким наслаждением, описывая первые впечатления детских лет, я переносюсь мыслью в этот *золотой век* моей жизни! Не мешайте мне помолодеть хотя на несколько минут и не гневайтесь на меня, добрые мои читатели! Еще несколько страниц, посвященных воспоминанию, и я поведу вас вместе со мною в этот премудрый свет, в котором знают, что солнце не ложится спать, что оно почти в полтора миллиона раз более земли, а не знают того, что из всех людей, им освещаемых, одни только дети или те, которые *походят* на детей, могут называться счастливыми. «Следовательно, глупцы счастливее умных? – спросит какой-нибудь обросший бородами *европеец*. – Следовательно, невежество мы должны предпочитать просвещению?» Чтобы отвечать на этот вопрос, надобно прежде знать, каких людей эти господа называют глупцами и что величают просвещением и невежеством? Слова меняют часто свое значение. Было время (но, благодаря бога, не у

нас), что кровожадный фанатизм именовали верою, а исполнение кратких евангельских добродетелей – равнодушием к вере и вольнодумством. Давно ли французы называли прихотливую волю нескольких палачей – законом; право осуждать без суда – свободою и каждое христианское чувство – фанатизмом? Давно ли?.. Но об этом поговорим после.

II. ГУБЕРНСКИЙ ГОРОД

Я уже сказал, что мы оба с Машенькой вовсе не думали о нашем дальнем родстве, следовательно, и мысль, что она может быть со временем моей женою, не приходила мне никогда в голову. Однажды нянюшка ее, выговаривая ей за какую-то резвость, сказал: «Не стыдно ли вам, сударыня, вы уже невеста!» «Невеста! – повторил я про себя. – Невеста! Да неужели Машенька выйдет когда-нибудь замуж, будет любить другого больше, чем меня? О, нет, это невозможно!» Спустя месяца два после этого, нам случилось быть на свадьбе у одного деревенского соседа, бедного помещика, который выдавал сестру свою за нашего уездного заседателя. Я не мог без досады смотреть на веселый вид брата, который не скрывал своей радости. «Ах, какой злодей! – думал я. – Сестра его выходит замуж, а он еще радуется!» Когда в церкви, при начале венчания, жених взял из рук брата свою невесту, сердце у меня замерло, и я невольно схватил Машеньку так крепко за руку, что она чуть было не закричала. «Ах, сестрица! – шепнул я ей на ухо, – что, если когда-нибудь... Да нет! Тебя-то уж у меня никто не отымет!» Все это нимало не удивляло Машеньку: ей казалось только, что я люблю ее гораздо больше, чем другие братья любят своих сестер. Я и сам не сомневался в этом до тех пор, пока один случай не открыл мне глаз и не развил вполне чувства, которое таилось в душе моей. Вот как это было.

Накануне праздника Петра и Павла, в тот самый день, как мне минуло шестнадцать лет, вошел ко мне поутру Кондратий Бобылев.

– Честь имею поздравить со днем вашего рождения, – сказал он. – Извольте-ка вставать да одеваться, пора к обедне.

Я вскочил с постели.

– Мусью француз захворал, – продолжал Бобылев, – так мне приказано быть при вас. После обедни господа едут в город.

– Так мы с Машенькой останемся одни?

– Никак нет, сударь! Их высокородия берут вас и барышню вместе с собою.

– Как? Мы поедем в город?

– Точно так-с, в город, на ярмарку.

– Возможно ли?.. Мы будем на ярмарке!

– Как тут, сударь, поспеем к самому развалу. Извольте же одеваться! Вон уж трезвонить начали.

Я почти обезумел от радости. «Увидеть город! Быть на ярмарке! Господи боже мой!..» Второпях я раскидал все мое платье, надел наизнанку жилет, повязал на шею вместо галстука носовой платок, наконец при помощи Бобылева кое-как оделся и отправился к обедне. Надобно сказать правду, на этот раз молитва моя была самая грешная, потому что я беспрестанно думал о городе и с нетерпением дожидался конца службы. «Ну, если уедут без меня?» – думал я, стоя как на огне и поглядывая беспрестанно на двери. Когда, отслушав обедню, я воротился домой, завтрак был уже готов и шестиместная линия, заложенная в восемь

лошадей, стояла у крыльца.

Мы отправились. Я сидел подле Машеньки. Как она была хороша в своем белом платьице, с распущенными по плечам волнистыми кудрями! Как блистали удовольствием ее любопытные взоры, как всякий неожиданный предмет возбуждал ее простодушную детскую радость! Сначала мы оба были в восторге: перед нами раскрывался новый, безвестный для нас мир. Вот мы проехали мимо этого глубокого оврага, на дне которого в тени густых деревьев скрывалось несколько крестьянских изб. Предание гласило, что тут был некогда разбойничий притон. В самом деле, странное положение этой деревушки, существование которой и подозревать было невозможно, несмотря на то что она была близехонько от большой дороги, оправдывало это народное поверье. Мы спустились в лощину и оставили позади себя деревянный крест, врытый в самом том месте, где лет двадцать тому назад убило громом тужиловского старосту. Это был крайний предел наших летних прогулок. Разумеется, внимание наше удвоилось, и, несмотря на единообразный вид полей, нам казалось, что все то, что мы видим, несравненно лучше того, к чему пригляделись мы с нашего детства. Вот забелелась вдаль частая березовая роща.

– Посмотри, посмотри, братец! – сказала Машенька. – Ах, как хорошо! точно белый дождь!

Около двух часов любопытство наше поддерживалось, но под конец нам стало скучно: одни поля сменялись другими, за одним холмом подымался другой, все те же рощи, перелески, лощины, и только изредка кое-где, вдаль от большой дороги, проглядывали, окруженные огородами, деревни.

– Скоро ли мы приедем? – спросила Машенька, зевая. – Что это, маменька, как город-то далеко от нас; едешь, едешь, а все конца нет!

Авдотья Михайловна улыбнулась и молча указала вперед.

– Что это, что это? – закричала Машенька. – Посмотри-ка, братец, звездочка!

Это блистала в лучах полуденного солнца глава соборной церкви нашего губернского города.

Подъехав к крутому спуску, мы вышли все из линий и прошли несколько времени пешком. Когда мы взобрались на противоположный скат, то высокий холм, усыпанный домами, посреди которых подымались кое-где выкрашенные кровли каменных палат, представился нашим взорам.

– Так это-то город? – закричала Машенька, – Как он велик! Сколько в нем домов!.. И в них во всех живут?.. Ах, боже мой!

Я сам обезумел от удивления, смотря на длинную, обставленную высокими домами улицу, которая шла в гору и оканчивалась на вершине холма площадью.

– Фу, батюшки! – шепнул я вполголоса. – Какая громада домов!.. Какие огромные палаты!

– И, сударь! – сказал Бобылев, который шел позади меня. – Да что это за город – так, городишка! Такие ли бывают города. Да и то сказать: один побольше, другой поменьше, а все они на одну стать – налево дома, направо дома, а посерединке улица – вот и все тут.

Восторг мой очень уменьшился, когда мы въехали в город. Начиная от самой заставы тянулись два ряда лачужек, одна другой безобразнее.

– Что это? – вскричал я невольным образом. – Да неужели это город?

– Город, душенька! – сказала Авдотья Михайловна. – Эта улица называется